

Милость к виновным как наказание невиновных

Васильев К.Б.

Аннотация: Автор, редактировавший в своё время воспоминания А. Ф. Кошко, начальника Московского уголовного розыска, обращает внимание на те очерки бывшего царского генерала, в которых говорится о тяжких уголовных преступлениях, совершённых в период, предшествовавший двум русским революциям 1917 года. Убийцы, осуждённые на длительные тюремные сроки, во время революционных событий вышли на свободу, получили возможность мстить — при возможности полицейским и судебным чиновникам, причастным к их осуждению, и вообще всем представителям бывшей власти, а также совершать безнаказанно новые преступления, пользуясь анархией в стране. Документальный материал очерков сопоставляется с рассуждениями Ф. М. Достоевского о нравственности человека в целом и с мнением В. В. Розанова об апокалиптическом характере русского бунта.

Ключевые слова: Аркадий Кошко, классовый враг, апокалипсис, Яков Юровский, виселица, социалистическая законность, неблагонаравие человека, милосердие, смертная казнь

В своё время, редактируя воспоминания генерала Кошко, опубликованные за прошедшие два десятилетия в разном формате и под разными заголовками чуть ли не каждым российским издательством, я поначалу не усмотрел в них чего-либо *серьёзного*. И предыдущие, и мой издатель явно рассчитывали на читательский интерес и быструю продажу: очерки Кошко — складно изложенные полицейские расследования, с тем лишь отличием от детективных рассказов, что они достоверны — со скидкой на какие-то журналистские обобщения и беллетристические прикрасы. Воспоминания Кошко можно прочесть, как говорится, в один присест и больше к ним не возвращаться. Однако одна особенность заставила меня задуматься: карьера Аркадия Францевича Кошко закончилась в 1917 году: его отстранили от дел, и в тот же год благодаря двум революциям на свободе оказались преступники, в том числе убийцы, которых он незадолго до государственных потрясений и переворотов, как говорится, *ловил и сажал*. Кое с кем из своих бывших *подопечных*, не самых опасных, он даже встретился по воле случая, от встречи с другими судьба уберегла его... Готовя материал к печати, я, конечно, не затыкал уши и не закрывал глаза на события нашего времени: в новостях то и дело сообщалось о преступных деяниях — о разбойных нападениях и грабежах, о хладнокровных и жесточайших убийствах, и, видя на экране телевизора убийцу, который в судебном заседании скучает, ухмыляется, а то и грозит судье и всем присутствующим, — видя подобное, я невольно связывал прошлое и настоящее: в предреволюционной России государство то ли из человеколюбия, то ли в силу старческой беззубости — ибо и государство, старея, теряет зубы, — сильно смягчилось к особо опасным *злодеям*, заменяя казнь каторгой, и в сегодняшнем государстве при нынешнем запрете на смертную казнь, пусть даже подсудимый резал малых детей, по тюрьмам накапливается и умножается армия *на всё способных* личностей, которые в грядущем смутном времени не только разделяются со своими *обидчиками* из полиции, прокуратуры и суда, но и, поигрывая оружием, будут издеваться и глумиться над обычным людом.

Издавна говорили: вора миловать — доброго погубить.

Аркадий Францевич Кошко поведал читателю о преступном мире царской России в начале двадцатого века, его очерки основаны на личном соприкосновении с этим миром, ибо Аркадий

Францевич служил в Рижской, затем в Петербургской полиции, с 1908 до 1917 года возглавлял Московский уголовный розыск. Его очерки — череда драматических событий, необычных происшествий, забавных случаев, его рассказ ведётся просто, без потуг на оригинальный стиль: нечто случилось там-то, был такой-то год, мне сообщили, что в местном соборе украден крупный бриллиант... Или: однажды в мой кабинет вбегает взволнованный надзиратель и докладывает, что какой-то негодяй выстрелом из револьвера уложил на месте городского... Узнав завязку, мы следим за ходом расследования, которое приводит к развязке — к поимке преступника, к обнаружению украденного, к распутыванию запутанного. Может быть, какой-нибудь русский журналист-эмигрант помогал русскому полицейскому-эмигранту обрабатывать воспоминания, придавая им литературную форму? Очень может быть. Так или иначе, в 1926 году в Париже были напечатаны двадцать документальных рассказов Аркадия Францевича Кошко, ставших первой частью его книги «Очерки уголовного мира царской России». Почти сразу появился и французский перевод. У нас генерала Кошко вспомнили в девяностых годах двадцатого века, именно в связи с его очерками, и разные издатели стали периодически выбрасывать на книжный рынок его книгу — в том числе под придуманным завлекающим названием «Среди воров и убийц» и с окровавленными зверскими физиономиями на обложке. Автора, в коммунистический период напрочь забытого, быстро нарекли *легендарным Кошко* и *главным сыщиком Российской империи*, наклеив на него ещё один ярлык, способствующий увеличению продаж: *гений русского сыска*. В то же время вспомнили, кстати, и Ивана Путилина, ещё одного *гения сыска*, чьи воспоминания, написанные более ста лет назад то ли им самим, то ли от его имени, были извлечены из библиотечных спецхранилищ и уцелевших книжных собраний, и стали тиражироваться в *послеперестроечной* России, когда плакатно-геройское, но неосуществимое *Все силы — построению коммунизма* сменилось на лавочное, но вполне реализуемое *Всё на продажу*.

Судя по всему, у нас было всего два *гения сыска*. Жизнь и полицейская деятельность обоих относятся к дореволюционному прошлому, к предреволюционному периоду, который мы не собираемся идеализировать, но в который русская полиция, открыто критикуемая за склонность брать взятки, покрывать преступников, *тащить и не пущать*, всё же не имела тех карательных полномочий, которые получила советская милиция в послереволюционный период — милиция, для вступления в которую требовались не профессиональные навыки, а рабоче-крестьянское происхождение, преданность коммунистической идее, ненависть к классовым врагам. Да, эта новая милиция ловила в силу своих способностей тех, кто нарушал *социалистическую законность*, но главным было — следовать той *линии*, что проводит большевистская партия, а *линия* предполагала, что закон не одинаков для всех — про закон можно забыть, разбираясь с *врагами народа*.

Линию указали коммунистические вожди — люди, однажды или не раз побывавшие на скамье подсудимых и в тюремной камере. Познавшие тюрьму, каторгу, ссылку и эмиграцию, вожди имели преступное прошлое, преступные наклонности и преступное мышление, и созданные ими *органы правопорядка* должны были состоять в большинстве из людей с таким же мышлением или, по крайней мере, из тех, в ком не возникало неприязни, несогласия, отвращения к этим вождям с их преступным прошлым. Для Путилина и Кошко преступником был и представитель низов, зарезавший крестьянина или мещанина, и представитель верхов, задушивший благородную даму. При Советской власти стали героями те, кто в революционный 1917 год застрелил как можно больше *городовых*, кто больше всех *порубал шашками* людей во время Гражданской войны, кто особенно активно изымал хлеб у сельского населения на прокорм *молодой республики Советов*, кто усердно *раскулачивал* более-менее зажиточных крестьян, подавлял *мятежи*, истребляя пришедших в отчаяние жителей той или иной губернии... И действия советской милиции не подлежали критике; либеральным литераторам и журналистам уже нельзя было изошряться в подборе кличек зарвавшимся блюстителям порядка: Держиморда! унтер Пришибеев! Можно и нужно было только цитировать лакейское высказывание горластого поэта Маяковского: «Моя милиция меня бережёт!»

Закон и порядок — понятия относительные... Летом 1918 года некий Яков Юровский с сообщниками удерживали долгое время в заколоченном доме группу людей — мужчин, женщин и детей, не давая им общаться с внешним миром, и как-то ночью они отвели своих пленников в подвал и убили выстрелами в упор. Юровский стрелял из двух пистолетов, он

убил мужчину и достреливал упавших на пол дочерей этого мужчины... Вот выдержки из документа с пояснениями Юровского: «Вещественные доказательства... два револьвера: один системы *кольт* (номер такой-то) и второй системы *маузер* (номер из многих цифр)... Причины того, почему револьверов два, следующие — из *кольта* мною был напавал убит Николай, остальные патроны одной имеющейся заряженной обоймы *кольта*, а также заряженного *маузера* ушли на достреливание дочерей Николая...» Эти канцелярские фразы как будто из протокола: видимо, задержанный Юровский делает признание, сообщает подробности убийства, этот документ, наверно, пошёл в суд, который приговорил жестокого убийцу к высшей мере наказания? Да, во времена Кошко это был бы протокол, и Аркадий Францевич содрогнулся бы, записывая показания Юровского, и передавая дело в судебные инстанции, он, может быть, даже пожалел на прощание *заблудшую душу*, как однажды он пожалел преступника Ваську Белоуса, зная, что того ждёт виселица.

Но Яков Юровский, в отличие от Васьки Белоуса, историю которого Кошко поведал в рассказе «Русская заблудшая душа», вовсе не винился и не каялся. И никто не возбуждал против него уголовного дела. В стране, принявшей ленинскую идеологию и большевистские ухватки, Юровский воспринимался не преступником, а героем, который *пламенно ненавидел* и карал *классовых врагов*, и приведённая выдержка взята не из протокола, а из записки, прилагаемой самим Юровским к двум пистолетам, кои он передал в Музей Революции, где орудия убийства были благоговейно приняты и стали почётными экспонатами. Было это в 1927 году, в десятую годовщину большевистского переворота. Ещё раз выберем несколько *показательных* фраз из сопроводительной записки Юровского:

«Имея в виду приближающуюся 10-ю годовщину Октябрьской революции и вероятный интерес для молодого поколения видеть вещественные доказательства (орудие казни бывшего царя Николая II, его семьи и остатков верной им до гроба челяди), считаю необходимым передать Музею для хранения находившиеся у меня до сих пор два револьвера: один системы *кольт* <...> и второй системы *маузер*. <...> Из *кольта* мною был напавал убит Николай, остальные патроны... ушли на достреливание дочерей Николая <...> и <...> наследника, на которого мой помощник израсходовал тоже целую обойму патронов...»

Прогнило что-то в Русском государстве... *Погибла Россия!* — вторя многим другим, написал в своих воспоминаниях и Аркадий Францевич Кошко. Злодеи получили право злодействовать открыто и злодействовали они согласно законам, ими же написанным. Как выразился бы Пушкин, их *привычки преобратились уж в права*. Если от пушкинского изысканного слога перейти к тюремному жаргону, закономерно введшемуся в современный русский язык, управление страной после революции 1917 года осуществлялось *по понятиям авторитетов* во главе с всегда и во всём правым *паханом*... *Апокалипсис нашего времени!* — воскликнул философ Розанов. *С Россией кончено!* — подвёл итог поэт Максимилиан Волошин... Стараясь соблюдать объективность, назовём прозвучавшие фразы всплеском эмоций и даже истерикой. Что-то всё-таки осталось... Собственно, всё и осталось, и страна и народ. Вспомним: Первая мировая война подорвала устоявшийся порядок на всей планете, у русской революции были объективные причины, и в событиях того периода усматривается историческая неизбежность. Оставаться беспристрастным трудно, и даже сейчас, через столетие, вместо взвешенных суждений о тех катастрофических сдвигах и переворотах невольно повторяешь то, что сказал в злом запале Розанов: от бывшей России после 1917 года остался только *подлый народ*.

В своих размышлениях, увидевших свет под заголовком «Апокалипсис нашего времени», Василий Васильевич Розанов пишет:

«Русь слиняла в два дня. Самое большее — в три. <...> Поразительно, что она разом рассыпалась вся, до подробностей, до частностей. И собственно, подобного потрясения никогда не бывало, не исключая *Великого переселения народов*. Там была — эпоха, *два или три века*. Здесь — три дня, кажется даже два. Не осталось Царства, не осталось Церкви, не осталось войска, и не осталось рабочего класса. Чтó же осталось-то? Станным образом — буквально ничего».

Потом, как будто подумав и сообразив, что *ничего* — это уже чересчур, так не бывает, что *совсем ничего*, Розанов добавляет это злое и для России уничижительное: «Остался подлый народ»... Поскольку мы упомянули Максимилиана Волошина, дадим ему возможность проговорить начатое до конца:

С Россией кончено... На последях
Её мы прогалдели, проболтали,
Пролузгали, пропили, проплевали,
Замызгали на грязных площадях,
Распродали на улицах: «Не надо ль
Кому земли, республик да свобод,
Гражданских прав?...» И Родину народ
Сам выволок на гноище, как падаль...
О Господи, разверзни, расточи,
Пошли на нас огонь, язвы и бичи,
Германцев — с запада, монгол — с востока,
Отдай нас в рабство вновь и навсегда,
Чтоб искупить смиренно и глубоко
Иудин грех до Страшного Суда!

Живущие в начале двадцать первого века, мы, оглядываясь на свою историю, видим, что призыв поэта как будто был услышан: и германцы с запада не заставили себя ждать, и *огнь, язвы и бичи* воплотились в виде преследований, арестов, лагерей...

Мы отвлеклись собственно от книги Аркадия Францевича, переключившись на исторический фон его рассказов. По большому счёту, для читателя не важны обстоятельства, при которых, на фоне которых создавалось произведение и разворачивается его действие; но читатель, способный мыслить, в данном случае не может не отвлечься на размышления о преступности и на рассуждения о преступлении и наказании. Аркадий Францевич Кошко поддерживал порядок в дореволюционной России: раскрывал преступления, разоблачал мошенников, ловил воров и, главное, задерживал убийц — тем самым *отвращая от людей потоки крови*, как выразился он в предисловии к своим воспоминаниям. Кошко гордился своей работой и считал, что его усилия не прошли даром: «с каждым арестом вора, при всякой поимке злодея-убийцы я сознавал, что результаты от этого получаются немедленно. Я сознавал, что, задерживая и изолируя таких звероподобных типов, как Сашка Семинарист, Гилевич или убийца девяти человек в Ипатьевском переулке, я... воздаю должное злодеям...»

Но при жизни Аркадий Францевич получил большой плевок, как получили его и жертвы дореволюционной преступности: в стране произошёл государственный переворот, и *злодеи*, если не все, то их значительная часть, оказались на свободе. Только что упомянутый убийца девяти человек в Ипатьевском переулке, был, как сообщает Кошко, осуждён к *бессрочной каторге*. Но это *бессрочие* оказалось недолгим: в марте 1917 года Временное правительство объявило амнистию заключённым. При Временном правительстве, по выражению Кошко, «двери тюрьмы широко раскрылись для выпуска из тюремных недр всякого мазурья». Прочитав это, мы делаем свои умозаключения и расчёты: например, Сивухин и Пронина, убийцы и растлители, о которых рассказывается в очерке «Гнусное преступление», получили в 1908 году по двадцать лет каторжных работ, и, значит, они не *отсидели* к 1917 году и половины своего срока. Даже если того или иного преступника не коснулась амнистия Временного правительства, с приходом большевиков преступник мог возопить из застенка о своём пролетарском происхождении, о трудном житье при царизме, о *притеснениях* и *произволе* полицейских, причислив, кстати, к *жандармам* и *палачам* того же Кошко...

Преступник, осуждённый на самое что ни есть *бессрочное* и *пожизненное* наказание, может рассчитывать на свободу не только благодаря падению старого режима, как это произошло у нас в феврале 1917 года, или государственному перевороту, имевшему место в октябре того же года; периодически верховная власть впадает в благодушное настроение и желает продемонстрировать своё милосердие, полагая, что в ответ на её милость слёзы благодарности польются из глаз преступников, выпущенных по амнистии раньше срока, и, раскаявшись, они пойдут в дворники, булочники, сантехники и шахтёры, дабы добывать себе копейку на пропитание честным трудом. Так, наверно, думает верховная власть, — приводя в действие только часть умственных способностей, думая, но не задумываясь, поскольку для верховной власти уголовники не представляли и не представляют *каждодневной* опасности: никакой грабитель не заберётся в комнату царя и не зарежет его ради денег и мало-мальски ценных вещей, налётчик никогда не отберёт сумочку у его жены в безлюдном переулке или тёмном

подъезде; точно так же коммунистические вожди и выборные депутаты нынешнего правительства, объявляя амнистию, сокращая тюремные сроки или отменяя высшую меру наказания, знали, знают, осознают, что лично на них эти проявления *милосердия* никак не отразятся, от этой *доброты* лично им не будет вреда: как и верховные правители царских времён, они не перемещаются пешком по упомянутым переулкам, не входят в одиночку в тёмный подъезд, в их хорошо охраняемую квартиру не вломится Сашка по прозвищу Семинарист и после жестоких пыток не заколет ножом всю их семью...

Сашка Семинарист, убийца, поимкой которого занимался Кошко, был приговорён судом к повешению. Но до петли дело не дошло: наказание Семинаристу смягчили до двадцати лет каторжных работ. Почему? А *подоспел* Романовский юбилей — верноподданная страна отмечала трёхсотлетие, как ею правила династия Романовых, и правитель, Николай II, сделал *подарок* народу, им управляемому, какое-то количество уголовных преступников выпустив на свободу, какому-то количеству уголовных преступников смягчив наказание. Кстати, монаршее милосердие, проявленное в 1913 году, коснулось, среди прочих, Симона Тер-Петросяна, в то время уже известного грабителя по кличке Камо, и Генриха Ягоды, чья громкая преступная слава была ещё впереди, он стяжает её при большевистском правлении, усердно разоблачая и ликвидируя настоящих и придуманных врагов Советской власти, в том числе на посту председателя ОГПУ, организации, деятельность которой очень одобрял, например, один из большевистских вождей Сергей Миронович Киров, цели этой организации красочно объясняя: «Карать, не только карать, а карать по-настоящему, чтобы на том свете был замечен прирост населения благодаря деятельности нашего ОГПУ»... Осчастливленные монаршей милостью Камо и Ягода внесли потом свою лепту в свержение монархии и косвенно способствовали истреблению Романовых. Спасённый царским человеколюбием Сашка Семинарист, узнав на каторге о Февральской революции, сразу сообразил, как воспользоваться оным историческим событием: он соврал, что хочет идти на фронт — возможно, написав в прошении что-нибудь про *проклятый царизм*, полицейский *произвол* и, может быть, изъявив желание *пролить кровь за новую свободную Россию*. Сашку, человека, который, по характеристике Кошко, *находил какое-то наслаждение в убийстве людей*, освободили; воевать с немцами он, конечно, не поехал, а явился в Москву, где принялся за прежнее, убив для начала двух членов своей банды, дававших в своё время показания против него...

Рискну предположить, что не все дела, которыми занимался Аркадий Францевич, были раскрыты, не все закончились поимкой и осуждением преступника; скорее всего, были и неудачи, а для воспоминаний Кошко отобрал только успешные расследования. Но не может не вызвать симпатии его подход к каждому делу: во-первых, у него есть правило *терпеливо выслушивать каждого, в том числе совершенно пьяного студента*, во-вторых, он, начальник сыскной полиции, предпочитает не отдавать команды из своего кабинета, а лично участвует во многих расследованиях — мы слышим это *лично*, когда он едет в Варшаву, где орудуют изготовители фальшивых марок, или когда он отправляется из Москвы в Пензу, где, переодевшись в лохмотья, выпытывает сведения у местной сводницы, замешанной в гнусном убийстве девочки. Второе привлекательное наречие, которое встречается в каждом рассказе, иногда по несколько раз, это *немедленно*: я немедленно позвонил, я немедленно отправился, я немедленно кинулся его разыскивать... Ладно, это могут быть литературные штампы, привычно соскальзывающие с пера при написании полицейско-судебных историй; но что чувствуется: Аркадий Францевич не был злым. Он сердится, раздражается по каким-то поводам, но у него не возникает желания одного арестованного *сгноить в Сибири*, другого *поставить к стенке*, третьего *вздёрнуть на виселице*, и вообще карать, *качать по-настоящему*, чтобы благодаря деятельности возглавляемой им сыскной полиции *на том свете был замечен прирост населения*. Он и по поводу судебных приговоров не высказывает недовольства: вот мол, мы старались, ловили, а судьи послали убийцу на каторжные работы, тогда как по нему, мерзавцу, виселица плачет!

О необходимости виселицы говорит не благородный Аркадий Францевич Кошко, а разбойничий атаман Васька Белоус: «Таких людей, как я, и следовало вешать по закону. От таких молодцов, как мы, один лишь вред да неприятность, а пользы никакой...»

Были, есть и будут философы — доморощенные и дипломированные, которые на уровне кухонного стола или с высоты университетской кафедры утверждают, в силу ограниченного

количества ума, отпущенного им природой, что человек рождается хорошим, а нехорошим его делают плохие социальные условия: жил в бедности, вот и пришлось воровать на хлеб; отец — пропойца, мать — проститутка, вот и потянуло парня, окружённого пороком, грабить прохожих; они произносят с многозначительным напором: *общество виновато*; они перечисляют известные причины: *улица испортила, нехорошие дружки завелись, сбили парня с пути*; а чуть ли не самая часто называемая *причина*, как на философском, так и кухарочном уровне, — водка: все преступления — *из-за водки проклятой!*

Но вот барон Гейсмар, убивший женщину из-за пары серёг, рос вовсе не в бедности, с нехорошими друзьями из подворотни не ящался; его подельник Долматов имел в отцах не дворника-пропойцу, а тайного советника, и мать зачала его не от очередного клиента, купившего её услуги на панели. Что привело Гейсмара с Долматовым к преступлению? В очерке «Убийство Тиме» имеющие глаза прочитают, что преступник может свалить своё злодеяние не только на плохие, но и на слишком хорошие социальные условия! По предъявлении улик барон Гейсмар вообще не пожелал разговаривать со следователями, а вот Долматов приоткрыл *тайники* своей души: «Мы с бароном жертвы современного социального уклада. Выросшие в холе, избалованные средой, отравленные дорогими привычками, мы не имели возможности хотя бы наполовину удовлетворять их. Началось с переучёта векселей, дружеских бланков, затем наступил период краж и, наконец, вот докатились до убийства... Познакомились мы с Тиме в «Вене», обратили внимание на её серьги, а так как в эти дни деньги нужны были нам до зарезу — мы и зарезали... Барон мне мигнул, и я, незаметно выхватив топорик, ударил свою жертву по затылку. Она упала, а барон принялся её добывать свинцовым стеклом. Когда с ней было покончено, мы начали искать серьги, да, чёрт его знает, куда она девала их! В результате — грошовой кольцо.

Долматов говорил всё это, не торопясь, спокойно, как-то растягивая и скандируя слова. Ни раскаяния, ни угрызений совести, по-видимому, он не ощущал.»

Долматова и Гейсмара приговорили к каторге, которую они отбывали в Шлиссельбургской крепости. Кошко пишет, что после большевистского переворота их обоих видели в военной форме, они раскатывали по улицам Петрограда в автомобиле, реквизированном в одном из царских дворцов... Это опять к вопросу о роли русской революции в освобождении из тюрем всяческих *злодеев*.

Вернёмся к Ваське Белоусу, чьи высказывания доходят только до зрения и слуха, но не до понимания тех философов, по которым мы прошли выше, тех доброхотов, которые берутся рассуждать о главнейшем влиянии плохой компании и водки на формирование преступных наклонностей в *доброй и хорошей от рождения личности*, и которые убеждены, что человека можно перевоспитать. Преступник Белоус вещает как будто специально для них: «Сошлют меня, скажем, на каторгу,— я сбегу оттуда да и примусь за старое. Раз человек дошёл до точки,— ему уж не остановиться. Шабаш! Как вы его ни ублажайте, а его всё на зло тянет... Вешать меня следует.»

Как ни *ублажайте*, а злодея всё на преступление тянет... Опять же, не все соглашались с подобным выводом, даже те, кто согласны, например, с народным речением про волка, который, сколько его ни корми, смотрит в лес. Так то волк! — говорят они. — Так то из народных пословиц, из кладезя, так сказать, народной мудрости, а вы примазываете к ней и протаскиваете в крылатые выражения высказывания какого-то бандита.

Действительно, нужно ли прислушиваться к мнению какого-то Васьки с большой дороги, считающего, что его и ему подобных нужно вешать? Вот если бы это Лев Толстой написал или ещё лучше Фёдор Михайлович Достоевский, специалист по преступлениям и наказаниям...

Любопытно, что специалист по преступлениям и наказаниям, на которого налепили елейный ярлык *великого гуманиста*, пишет не о приобретённых в плохой компании, а врождённых пороках человека, о его *великом и постоянном неблагонаправии*: вы его хоть пряниками ублажайте, а он, человек, — «чудовищно неблагодарен! Неблагодарен феноменально. Я даже думаю, что самое лучшее определение человека — это: существо на двух ногах и неблагодарное. Но это ещё не всё; это ещё не главный недостаток его; главнейший недостаток его — это постоянное неблагонаравие <...>. Да осыпьте его всеми земными благами, утопите в счастье совсем с головой, так, чтобы только пузырьки вскакивали на поверхности счастья, как на воде; дайте ему такое экономическое довольство, чтоб ему совсем уж ничего больше не

оставалось делать, кроме как спать, кушать пряники и хлопотать о непрекращении всемирной истории, — так он вам и тут, человек-то, и тут, из одной неблагодарности, из одного пасквиля мерзость сделает. Рискнёт даже пряниками и нарочно пожелает самого пагубного вздора, самой неэкономической бессмыслицы, единственно для того, чтобы ко всему этому положительному благоразумию примешать свой пагубный фантастический элемент...»

Ни барон Гейсмар с Долматовым, ни Сашка Семинарист, ни Гилевич и прочие, о которых повествуют Кошко, ни упомянутый по ходу дела Юровский — не раскаивались в содеянном; не раскаивался и Родион Раскольников, выведенный Достоевским в известном романе; сам побывавший под следствием, судом и смертным приговором, пришедший к пониманию преступления и наказания не из университетских лекций, а из личного пребывания на каторге среди преступников, Достоевский передал в художественном произведении то, что наблюдал в жизни: да, суд вынес Раскольникову относительно мягкий приговор, считая его полное признание *чистосердечным раскаянием*, но убийца двух женщин, как сообщает Достоевский, *не раскаивался в своём преступлении*.

Вот наши политики говорят, что вешать или расстреливать людей нельзя, что правительство не имеет на это никакого права, что смертная казнь — тоже убийство, поскольку человек — божье творение, а не собака... Врут они всё...

Постойте, это чья речь? Мы по-прежнему слушаем *великого гуманиста* Достоевского? Или Кошко, старорежимный блюститель порядка, упрекает правителей своего времени в мягкотелости? Или автор этой статьи позволил себе оскорблять уже ненешнее правительство, обзывая государственных деятелей лгунами? Нет, упаси бог, вот уж автор статьи точно не позволил бы себе сказать, что наши политики и наше правительство врёт. Выросший при коммунизме, прошедший школу редактора и очеркиста в советском периодическом издании, автор этих строк и сейчас, при отсутствии цензуры, внутренне трижды присядет и четырежды обернётся перед тем и после того, как напишет более-менее смелую фразу. Про враньё правительства не я сказал, и не генерал Кошко с писателем Достоевским, это уголовный элемент Васька Белоус за минуту до казни прокричал: «Вот политики говорят, что вешать людей нельзя, что правительство не имеет на это никакого полного права, что человек — не собака и тому подобное. Врут они всё! Такой человек, как я, — хуже собаки! И ежели не повесить меня, — то много ещё крови невинной прольётся...»

Наши политики и наше правительство — сама гуманность. Это уже я пишу, автор очерка. Российские политики и правительство отменили смертную казнь в России — исходя, судя по всему, из *личной* гуманности, на своём высоком правительственном уровне, до которого, мы уже сказали, никакие уголовники не доберутся; при этом с высокого правительственного уровня было произнесено *про Европу*: в Европе не вешают, и мы не будем вешать, мы ведь тоже Европа или, по крайней мере, хотим в Европу... Как-то неубедительно: с чего вдруг в девяностых годах двадцатого века, в период, когда на смену разрозненным уголовным преступлениям, в большинстве своём совершаемым на улично-бытовой почве, пришла организованная преступность, когда заговорили о масштабном бандитизме и русской мафии, вдруг началось приравнивание и подлаживание под Европу, на которую семьдесят лет мы, грубо выражаясь, плевали? А если уж решили, что хватит плевать, то почему первым делом переняли снисхождение к убийцам? Можно было бы для начала позаимствовать, например, европейскую привычку потреблять спиртные напитки в питейных заведениях, а не в подъездах или на скамейках в парке, можно было по-европейски обеспечить малоимущих государственным жильём...

Историки напомнят, что после коммунистической революции, при Ленине, и особенно позже, при Сталине, в Советском Союзе отправляли на смерть по малейшему поводу, а то и совсем без повода, при этом такие *правоохранительные* органы, как ВЧК и ГПУ не утруждали себя долгим разбирательством, совмещая в себе следствие, суд и приведение приговора в исполнение; и если тогда из Европы или ещё откуда поступали вопросы, запросы или, может быть, даже предупреждения, советское руководство только морщилось недовольно или давало вопрошающим резкую отповедь. Ещё вчера, в коммунистический период нашей истории, людей сажали за решётку за мысли, высказывания или поступки, которые, по здравому рассуждению, не тянут и на денежный штраф; позавчера и вчера сажали, а на следующий день

верховная российская власть вдруг решает, что это не по-человечески, как-то не по-европейски — отнимать у индивида жизнь... И как-то это не *по-божески*!

Вдруг и про бога у нас с умилением заговорили — в правительственных верхах, я имею в виду. Семьдесят лет мы плевали на бога, как и на мнение Европы, и вдруг недавние и бывшие комсомольцы и коммунисты, замучившие всю страну бесконечными коммунистическими мероприятиями, запосещали мероприятия религиозные, крестятся прилюдно, говорят, что государство не имеет отнимать у человека жизнь, *данную богом*. А если человек из тех, которые, вспомним слова Кошко, *находят какое-то наслаждение в убийстве людей*? Похоже, у нас, действительно, *всё ненормально*, как считал Достоевский.

Достаточно миролюбивое состояние, обеспеченное хлебом и зрелищами, которое мы наблюдаем сегодня, не может длиться долго: покой в природе перемежается с возмущением стихий. Людское сообщество долго пребывало в относительном спокойствии, даже очень долго, считая с окончания Второй мировой войны. Логика подсказывает, что мы приближаемся к новому мировому потрясению, или, как сейчас любят говорить, кризису, и, если говорить о России, в ней наплодилось уже целое племя Базаровых, поставивших себе задачу *место расчистить*... Они менее симпатичны, революционные герои нашего времени, чем литературный персонаж, облагороженный уже в силу того, что в искусстве всё как-то облагораживается, и даже нечистоты становятся живописными, и негодяи колоритными; но тургеневский тип вспомнился именно из-за этой идеи, этой узкой задачи — *место расчистить*, об остальном разноречивы базаровы и думать не хотят, и что дальше будет, после *расчистки* — не их забота. Уже имеются Нечаевы, Бакунины и Ульяновы-Ленины, которых радуют любые государственные неудачи и поражения — по ленинскому принципу *чем хуже, тем лучше*: хуже для государственной системы, правящего класса, лучше для *революции*, которая разрушит старое *до основания*... Да, мы помним: подобные помыслы и предвкушения *страстно* выразил в своё время поэт и гражданин Некрасов: *Буря бы грянула, что ли? Чаша терпенья полна!*.. Мы в своё время читали это в хрестоматиях и по указанию учителей затверживали наизусть; или вот ещё памятный *пламенный* призыв, в связи с требованиями школьной программы заученный: *Пусть сильнее грянет буря!* — так взывал *буревестник* Максим Горький, и в школьном учебнике нам объяснялось, что в обоих случаях идёт речь не о ливне с громом и молнией, а о народном восстании... В русской литературе много всего, из русской литературы можно извлечь цитату на каждый случай. И на сей случай, на предмет *восстания*, имеется высказывание Пушкина, часто используемое, довольно заезженное, но мало кем полностью осмысленное: «Не приведи бог видеть русский бунт — бессмысленный и беспощадный. Те, которые замышляют у нас невозможные перевороты, или молоды и не знают нашего народа, или уж люди жестокосердые, коим чужая головушка полушка, да и своя шейка копейка». Но слова Пушкина обращены к разуму, а с разумом у нас всегда нелады, у нас с удовольствием говорили и до сих пор с какой-то гордостью повторяют, что *умом* Россию не понять, в Россию *нужно верить*... Если умом не понять, то и до разума не достучаться, так что пушкинское предупреждение для нас — литературная красивость, читаемая, даже признаваемая за мудрое слово, но кликушеское призывание бури находит *отклик* в русской душе; и в то, что нужно и можно, что пора *место расчистить* — в это кое-кому из сегодняшних революционеров искренне верится.

Во время всемирного возмущения будет плохо всем странам и народам, но остальные страны и народы устоят, а Россия снова рухнет — если не в два, то в три дня. Из *цивилизованных* стран только в России к власти снова могут прийти вожди, *замышляющие перевороты*, власть снова может *полностью* составиться из личностей, уверяющих, что для того, чтобы стало хорошо, нужно поубивать как можно больше людей, что нужно *карать, карать по-настоящему!* Лозунг, однако, остаётся звонкими словами, пока не найдутся исполнители. Исполнители найдутся, ибо во время возмущения, как это было в 1917 году, двери тюрем снова *распахнутся*. Накапливаемые сегодня тысячами в тюремных стенах, вышедшие на свободу *уголовные элементы* выполнят, как говорили при коммунизме, задачу, поставленную перед ними партией тех, кому *чужая головушка* — *полушка*. И что останется от России? Видимо, то, что осталось, по определению Розанова, после 1917 года — подлый народ.

Литература

1. *М. А. Волошин*. Пути России. Париж, 1969.
2. *Ф. М. Достоевский*. Записки из подполья. Собр. соч. Т. 2. М., 1982.
3. *А. Ф. Кошко*. Воспоминания начальника Московской сыскной полиции. СПб., 2008.
4. *Arcadius Kochko*. Récits sur le monde criminel de la Russie impériale. Mémoires de l'ancien chef de la police criminelle de Moscou. Paris, 1926.
5. *В. В. Розанов*. Апокалипсис нашего времени. Собр. соч. Т. 12. М., 2000.